

ОТ АВТОРОВ

Художественный мир романа «Ангел мой, Вера» сложился из творческого вымысла и документальных материалов. В книге цитируются следующие архивные документы:

На с. 86–87 и с. 320 — письмо матери Веры Муравьевой, Матрены Ивановны Горяиновой (НИОР РГБ, ф. 218, № 461–2, л. 1–6).

На с. 316 — альбом Веры Муравьевой (ИРЛИ, р. I, оп. 17, №459).

На с. 413 — родословная Муравьевых, сделанная Александром Артамоновичем Муравьевым (НИОР РГБ, ф. 218, № 462(I), 1 л.).

На с. 422–423 — письма М.К. Юшневской (ГАРФ, ф. 1463, оп. 2, № 687).

Кроме этого, мы приводим несколько писем из книги:

А.З. Муравьев. Письма / изд. подгот. Т.Г. Любарской. Иркутск: Иркутский музей декабристов, 2010. 528 с. — (Серия «Полярная звезда»).

Главы 26–28 построены на материалах следственного дела Артамона Муравьева (Восстание декабристов. Документы. Т. XI. М.: Госполитиздат, 1954. С. 91–132).

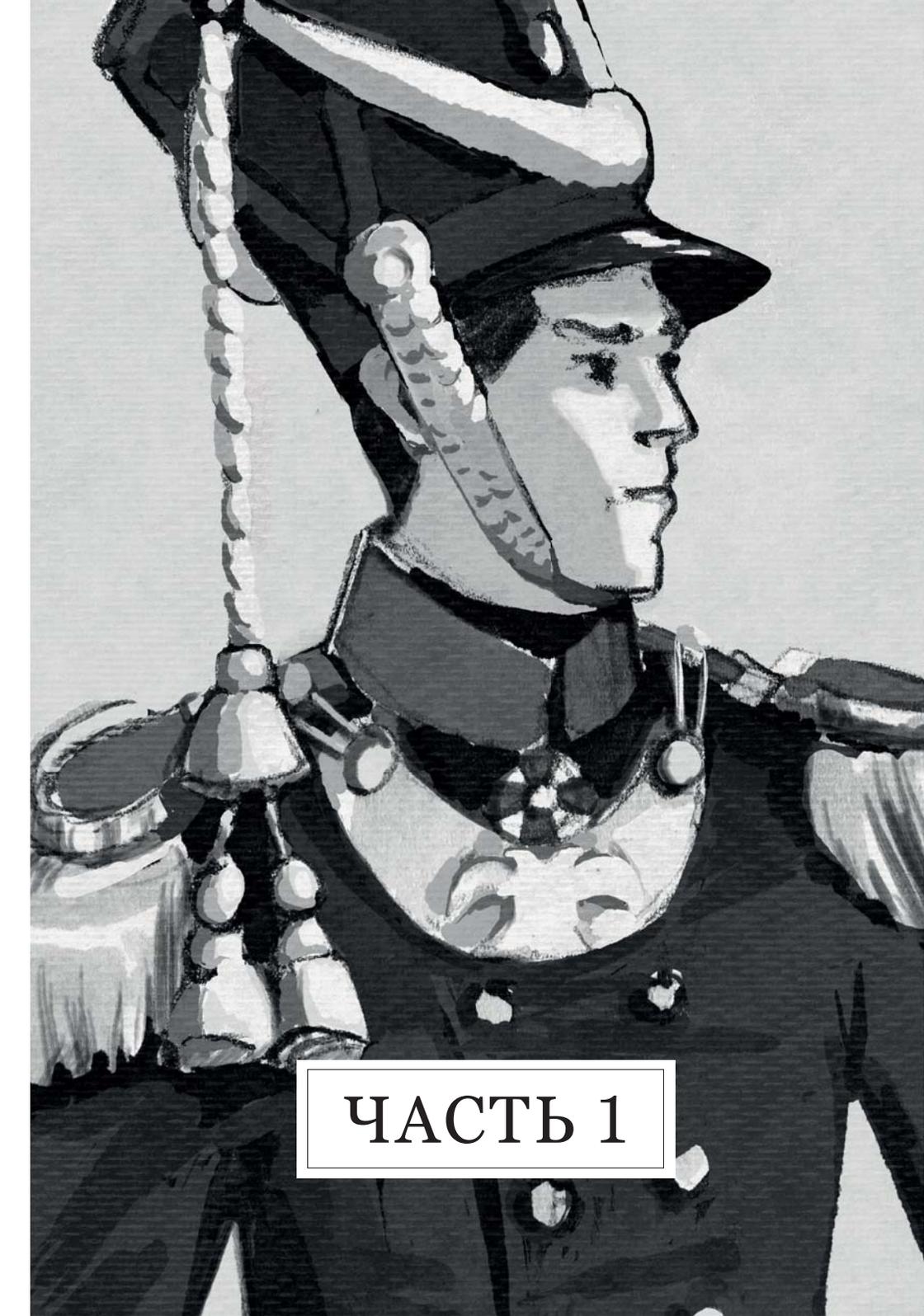
Некоторые письма в книге вымышленны.

Мы хотим поблагодарить тех, без кого эта книга не была бы написана: Наталию Соколову, Марию Лифанову, Екатерину Лебедеву, Евгению Шувалову, Раису Добкач, Юлию Морозову — за вдохновение, материалы, неоценимые советы и сведения по историческим реалиям, помощь в архивной работе и поддержку.

Анна Гумерова, Валентина Сергеева

Там за островом, там за садом
Разве мы не встретимся взглядом
Не выдавших казни очей,
Разве ты мне не скажешь снова
Победившее смерть слово
И разгадку жизни моей?

А. Ахматова



ЧАСТЬ 1

Не спасешься от доли кровавой,
Что земным предназначила твердь.
Но молчи: несравненное право —
Самому выбирать свою смерть.

Н. Гумилев

ГЛАВА 1

Ранней осенью 1817 года у полковника Александра Николаевича Муравьева, в Шефском доме Хамовнических казарм, было шумно,людно и весело, как всегда бывает в холостых офицерских квартирах, у студентов и у людей, живущих «артистически». Табачный дым облаками висел под потолком. Кому не хватило места на диване и в креслах, присаживались на подоконники, облакачивались на стол, а то и просто, сыскав себе собеседника, ходили под руку из комнаты в комнату. Спорили, спорили до головокружения, до ссор, иногда бестолково, то со смехом, то с раздражением, то замирая от собственной дерзости — но каждому было что сказать, и разговор не прерывался ни на минуту. Здесь перебивали самозванных ораторов, противоречили сами себе и всё равно друг друга понимали. Как только умолкал один, вступал следующий — задорно и уверенно.

Были все бесстрашны и молоды — никого старше двадцати шести лет. Все одинаково презирали плавное течение светских бесед, и у всех, невзирая на разницу лиц, одинаковым ясным светом горели глаза, как всегда бывает у разумных и равнодушных молодых людей, захваченных общим движением. С вероятностью немало интересных типов нашел бы в квартире полковника Муравьева внимательный художник. Тот, глядишь, весь подался вперед, опершись коленом на сиденье стула, то ли от желания возразить, то ли просто от усиленного внимания; у того, любителя обличений, язвительная, злая улыбка на губах вот-вот рассыплется смехом или криво, как шрам, взбежит на щеку; тот от волнения бледен, рот приоткрыт, как у школьника; те сидят обнявшись и отвечают противникам дружно — Орест и Пилад! — а через пять минут, быть может, рассорятся «навек» (то есть на весь вечер) и мрачно сядут порознь. Сброшенные от духоты мундиры, распахнутые воротники, заалевшие щеки, непрерывно дымящие трубки, выражения порой уж очень не парламентские — не собрание парадных портретов, а сплошь стремительные зарисовки. И разговоры, Боже мой, что за разговоры!

— Новгородское вече...

— Тоже и Москва.

— Вы истории не знаете, и я вам это докажу. Москва всегда была оплотом единовластия.

— Господа, примеров надо искать не в отечественной истории... отечественная история — болото.

— А это уж и не патриотично.

— Зато логично.

— История — не математика.

— Не пустословь, тебе не идет.

— Господа! Господа!.. Дайте договорить. Саша, будь добр, не кричи мне на ухо. В отечественной истории мы не найдем ни одного положительного примера... господа, я патриот, но на Европу надо смотреть, на Европу!

- Уж посмотрели. Через оконце, спасибо Петру Великому.
- В тринадцатом-то году и через двери глянули.
- Не понравилось, а, князь?
- Наше оконце — европейские книги, сочинения... Говорят — армия невежественна, армия груба, а в гвардейской казарме меж тем Руссо читали.
- Мы-то, может быть, и заглянули... Нас — сколько? Сотни... А остальным доведется ли? Кто смотрит сквозь венецианское стекло, а кто и в щелочку.
- Мы смотрим вольно, а страна лежит в невежестве и даже не сознает, что живет по-скотски.
- Пóлно — не сознает! То-то до сих пор запрещено поминать не только Пугачева, но и его неповинное семейство — кексгольмских узников...
- Разве мы здесь — страна? Мы горсточка счастливыхцев... Несправедливо. А беремся судить.
- По своему образованию и положению имеем право.
- Смирения, князь.
- Я возражаю! Смирение губит государство.
- Мать любит дочь.
- Ну и глупо.
- Ты уж не предлагаешь ли сапожника сажать в министры только за то, что он сапожник?
- Во Франции попробовали. Простонародный бунт порождает сперва море крови, потом непросвещенных правителей из черни, потом опять тиранов. *Un circle vicieux*¹.
- Ты говоришь — Петр Великий. А что Петр? Хорош пример... Наплодил чиновников. До сих пор видим неблагое последствия его правления, и нет им конца-краю. Фаворитизм...
- Ну, это уж общее злоупотребление государей.
- Господа, дайте мне сказать, я уж полчаса слова прошу!

¹ Порочный круг (*фр.*). — Здесь и далее все примечания составлены авторами.

Через час тесный кружок, сплошь спины и локти, вплотную облепил стол, за которым с пером в руках стоял Никита Муравьев, и молча слушал. Все полнились тем восторгом, который не осмеливается даже прорываться смехом. Здесь, на их глазах, творилось что-то необыкновенное. Хотя оно и походило на обычные молодые проказы против «стариков» и «обскурантов», но уже далеко выдавалось за их рамки.

— Слушайте, слушайте! Кто в субботу идет на бал к N.? Чур, вести себя, как договорились!

— Иначе из компании вон. Не трусить!

— Ну так слушайте. «Постановлено: идущим в субботу к N. всячески говорить против злоупотреблений вообще и синекур в особенности, также обличать жестокость дворян в отношении их крепостных слуг... нота-бене: тут рассказать об госпоже Ф., убившей утюгом свою крепостную горничную. Еще высмеивать и унижать тех, кто занимает свои места не по заслугам».

— Здесь, господа, надо тонко... без бретерства. Никитушка, это уж по твоей части.

— И не танцевать.

— Это уж само собой. В конце концов, это просто пошло.

— Отчего же пошло? — спросил молодой франтоватый кавалергард, видимо впервые оказавшийся в гостях у полковника Муравьева.

Ему добродушно, как новичку, объяснили:

— Оттого что глупо идти в большое собрание и тратить время на танцы, заместо просвещения многих умов. Мы уж не дети, чтоб в обществе думать только о развлечениях.

— Еще, господа, давайте порешим — с дамами разговаривать или нет?

— Я считаю, разговаривать. Дамы могут способствовать распространению идей.

— Полно, они для того не довольно развиты.

— Если вы имеете в виду московских тетушек, которые заняты только варкой варенья, то вы правы. Но есть же и просвещенные женщины, которых невозможно исключать.

— Хорошо, записываю, — сказал Никита. — «Разговаривать также и с просвещенными женщинами, могущими способствовать распространению идей».

— Как же вы предлагаете отличать просвещенных женщин от непросвещенных? Ежели она читает романы — просвещена она или нет?

— Или знает из геометрии и астрономии.

— Покажите мне женщину, которая изучает геометрию не для ловли женихов, а по искреннему влечению ума, и я сей же миг готов на ней жениться.

Молодой кавалергард, явившийся в это общество со своим кузеном, Никитой Муравьевым, только успевал повертываться на все стороны, чтоб ничего не упустить и всё услышать. Огорчало его лишь то, что самому ему до сих пор не удалось сказать решительно ничего интересного. Ненадолго окружающие заинтересовались его персоной, когда услышали, что штабс-капитан Артамон Муравьев с юности стремился усовершенствоваться в медицине. Ему довелось отпустить несколько удачных замечаний касательно того, к какой области относится лекарское дело — к человеколюбию или же к общественному хозяйству... но и только. Воодушевленный присутствием кузена и прочих родичей — милого «муравейника», — он попробовал было заново завязать разговор о себе, но не имел никакого успеха и удостоился лишь пренебрежительных взглядов.

Артамону вдруг стало стыдно перед всеми этими умными людьми, к которым он никак не мог найти подступа. Желая хотя бы посмешить компанию, он принялся рассказывать, как в десятом году они, молодежь, дразнили хозяина дома его масонством и выдумывали всякие нелепицы о «черных масках»,

занимающихся-де истреблением масонов... и опять промахнулся. Анекдот был признан неудачным, и сам Александр Николаевич даже обиделся слегка за такое напоминание. Бедняга кавалергард окончательно растерялся. Заслышав пущенное кем-то вполголоса замечание насчет «армейского фата», на некоторое время размышлял, принять на свой счет или нет, но решил философски пренебречь.

Двадцатитрехлетний штабс-капитан с некоторой досадой сознавал, что немногое о нем покамест можно было сказать за пределами сухих строчек служебного формуляра: «Артамон Захарьев сын Муравьев 1-й, из российских дворян, в военной службе с 1811 года». Блестящая карьера, отличия, близость ко двору, сиятельное родство — все отчего-то меркло, когда он сравнивал себя с родичами. За те же годы, проведенные в армии, они каким-то непостижимым для него образом успели усовершенствоваться не только в военных науках, но и в области философии, политики и общественной морали... «Неужели ж у меня эти семь лет пропали даром? — размышлял он. — Как, однако, они бойки, как рассуждают... а у меня словно язык подвязан! А ведь в десятом году и я умел поговорить не хуже их. Решат теперь, что я надут и неумен... А Сережа-то, Сережа! Мальчик был наивный, во Франции родился и вырос, в Россию приехал, не зная слова „mojiik“, а теперь поглядите, как его слушают!»

— Что, снова республика Чока в сборе? — с улыбкой спросил между тем Матвей Муравьев у Никиты, доканчивавшего записку. — Иных уж не узнать...

— Были мальчишки — стали мужи. На войне взрослеют быстро.

— А я, признаться, приятно удивлен, что Артамон свое тогдашнее увлечение не бросил, — заметил Александр Николаевич. — Авось окажется серьезнее, чем можно подумать. Ничего, он малый славный, честный... отполируется еще. Болтлив немного... весь в отца, тот, бывало, врал без просыпу.